

К. ПАУСТОВСКИЙ*

Январская стужа**

От костров клубился черный смолистый дым, подкрашенный багровым пламенем. Дым ночных костров и январской стужи низко висел над Москвой.

Сквозь этот дым со скрежетом ползли трамваи. Вагоны заросли изнутри клочьями изморози и походили на ледяные пещеры.

Костры складывали на площадях из целых бревен и старых телеграфных столбов. Около огня грелись милиционеры в серых каракулевых шапках с красным верхом — «снегири». Так звали милиционеров в то время. Милиционеры держали на поводу заиндевелых нетерпеливых коней.

Со стороны Красной площади доносились сильные взрывы. Там разбивали окаменелую землю.

Кострами и дымами Москва была окрашена в черно-красный траур. Черно-красные повязки были надеты на руках у людей, следивших за бесконечной медленной толпой, продвигавшейся к Колонному залу, где лежал Ленин.

Очереди начинались очень далеко, в разных концах Москвы. Я стал в такую очередь в два часа ночи у Курского вокзала.

Уже на Лубянской площади слышались со стороны Колонного зала отдаленные звуки похоронного марша. С каждым шагом они

* *Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968)* — русский советский писатель, сценарист и педагог, журналист, военный корреспондент. Во второй половине XX века его повести и рассказы вошли в советских школах в программу по русской литературе для средних классов как один из сюжетных и стилистических образцов пейзажной и лирической прозы.

** Огонек. 1962. № 4. С. 10–11.

усиливались, разговоры в толпе стихали, пар от дыхания слетал с губ все судорожнее и короче.

Прощайте же, братья, вы честно прошли

Свой доблестный путь благородный...

Кто-то запел вполголоса эти слова, но тотчас замолк. Любой звук казался ненужным среди этой полярной ночи. Только скрип и шорох многих тысяч ног по снегу был закономерен, непрерывен, величав, — к гробу шли люди с окраин, из подмосковных поселков, с полей, с остановившихся заводов. Шли отовсюду.

Молчание застыло над городом. Даже на далеких железнодорожных путях не кричали, как всегда, паровозы.

Страна двигалась к высокому гробу, где среди цветов и алых знамен не сразу можно было рассмотреть изможденное лицо человека с большим бледным лбом и закрытыми, как бы прищуренными глазами.

Шли все. Потому что не было ни одного человека, на жизни которого не отразилось бы существование Ленина, ни одного, кто бы не испытал на себе его волю. Он сдвинул жизнь. Сдвиг этот был подобен исполинскому геологическому сбросу, встряхнувшему Россию до самых недр.

В промерзшем насквозь Колонном зале стоял пар от дыхания тысяч людей. Время от времени плавное звучание оркестров разбивали пронзительные плачущие крики фанфар. Но они быстро стихали, и снова мерно звучал оркестр, придавая печали торжественность, но не смягчая эту печаль.

Со мной в толпе шел капитан дальнего плавания, сотрудник морской газеты «На вахте» Зузенко — мой сосед по даче в Пушкине.

Мы медленно прошли мимо гроба и замедляли шаги, стремясь в последнем взгляде удержать увиденное — лицо Ленина, его выпуклый лоб, сжатые губы и небольшие руки.

Он был мертв, этот человек, стремительно перекроивший мир. Каждый из нас думал о том, что теперь будет с нами. Куда пойдет страна? Какая судьба ждет революцию?

Казалось, что время застыло. Эпоха отыграла свое, замолкла, и вряд ли кто-нибудь сможет удержать ее на прежнем пути.

— Наши дети, — сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, — будут завидовать нам. Если не вырастут круглыми дураками. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, разочарований и побед. Зеленых от голода и почерневших от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня.

Потом мы долго ехали с Зузенко в Пушкино в пустом дачном поезде. Он грохотал и качался в густом пару. Колеса вагонов звучно били по стыкам рельсов. Им вторило ночное эхо. Казалось, что оно тоже замерзает и потому звенит и потрескивает, как тонкий лед, разбитый камнем.

Я любил заходить к Зузенко. Маленькая его дача была засыпана снегом по самые окна.

Мы молча выпили чай с черными сухарями. Потом Зузенко спросил:

— Поедете завтра на похороны Ленина?

— Конечно.

— В чем? Мороз крепчает. Ваше осеннее пальтишко — чистое рядно, чтобы не сказать больше. Да вас уже и сейчас трясет. Жаль, нет термометра.

— У меня есть.

— Померяйте. А завтра утром я зайду. Пораньше.

Я ушел.

В моей комнате было тоже холодно, как в запертом леднике. Я затопил печку и тотчас лег, не раздеваясь, укрывшись потертой медвежьей шкурой.

Голова у меня мутилась. Я подумал, что сейчас, в такие дни, просто нельзя уступать смутным и печальным мыслям, нельзя позволять тоске распоряжаться собой.

Мир потрясен. Неистовая стужа не может убить печаль человеческих сердец. Москва пылает в похоронных кострах. Люди ждут полного избавления от тысячелетних и бессильных страданий. Ушел человек, который знал, что делать.

Он знал. Но знаем ли мы?

Я потянулся к часам. Печка прогорела. При свете углей я увидел, что уже шесть часов. Сильно болела голова.

Серый сумрак, поморок, заползал в комнату из окна и тут же падал в темноту, на пол.

Надо было собираться и ехать в Москву.

Зузенко постучал в окно и крикнул, приложив ладони к стеклу, чтобы я даже не смел отворять ему дверь: мороз осатанел и просто сжигает легкие.

— Ехать в Москву немислимо! — прокричал он. — Оставайтесь. Ложитесь. Я поеду, вернусь поскорее и все вам расскажу.

У меня не было ни сил, ни голоса спорить. Он ушел. Я все же надел пальто, замотал шею старым шарфом, натянул на уши кепку и вышел.

Я добрел до железнодорожного переезда как раз в то время, когда прошел на Москву последний утренний поезд. Я опоздал.

Тогда я пошел вдоль полотна в сторону Москвы.

Но я не прошел и двух километров. Очень кружилась голова. Мне хотелось сесть на откос, в снег, и посидеть немного. Но я знал, что в такой мороз этого делать нельзя. Поэтому я все брел и брел, спотыкаясь, понимая, что идти бессмысленно и надо возвращаться.

Я убеждал себя, что в этой ломкой тишине обязательно услышу отдаленный, но слитный гул всех заводских гудков Москвы. Может быть, даже услышу громяющий вздох оружейных залпов.

Но было очень тихо. Только все сильнее потрескивал лес.

Наконец со стороны Пушкина послышался нарастающий шум, — это шел в Москву, выбрасывая столбы дыма и пара, сибирский экспресс.

Он всегда проходил в это время мимо Пушкина, не останавливаясь, не тормозя, увлакивая за стрелки тяжелые пульмановские вагоны. Все казалось, что вагоны хотят отстать, остановиться, отдохнуть, но паровоз безжалостно мчит их вперед и не дает отдышаться.

Поезд приближался. Внезапно он вздрогнул. Залязгали и запели тормоза. Грохот колес оборвался, и поезд остановился среди леса. Паровоз дышал, как запаленная лошадь.

Поезд остановился там, где его застало время похорон.

Пар вырвался могучей струей из недр паровоза, и паровоз закричал. Он кричал непрерывно, не меняя тона: В его крике слышалось отчаяние, гнев, призыв.

Этот могучий гудок летел окрест — в леса, в стужу, в поля, где одним нетронутым пластом растлелись снега.

Шли минуты, а паровоз кричал все так же томительно, так же тоскливо и настойчиво, возвещая, что сейчас на Красной площади в Москве хоронят Ленина.

Экспресс промчался через тысячи километров великой русской зимы, но опоздал. Всего на сорок минут.

Мне казалось, что я слышу не только вопль сибирского экспресса, но крик всей Москвы. В эту минуту остановилась жизнь. Даже морские пароходы легли в дрейф и сотрясали зимние свинцовые воды плачем мощных сирен.

Гудок сразу стих, и поезд тронулся в задымленную даль, к близкой Москве.

Все было кончено. Я побрел домой.

На дачах мертво висели траурные флаги.

На обратном пути я не встретил ни одного человека. Мне чудилось, что вымер весь мир и жизнь иссякла, как последний неприятный свет этого январского дня с его никому не нужной мучительной стужей и горьким запахом дыма.